

Анастасия ИВАНОВА
(Москва)

в деревушке на жителя – три избы
словно горькой, дождями река пьяна
здесь печали по горло, и не избыть
эту грусть акафистами. имена
ты в алтарь на утреню не пиши
всё одно, толк не выйдет, а выйдет дух
потому-то и некуда нам спешить
подремать приляжем в одном ряду
в деревушке на жителя – горстка крох
суп из сныти да чёрный несладкий квас
и детишки все мелкие, как горох
на галчат похожие, не на нас
в деревушке холод блестит в глазах
голоса хрипят, кровь кислее щей
и захочешь, а сил не найдешь сказать
что всю жизнь ты промыкался здесь ничей
в деревушке на жителя три избы
а четвёртая отдана всем ветрам
до зимы будем баню топить и пить
а зимою умрём, не застав утра

Белый кефир в бокале,
сумерки под глазами.
Через метель окалин,
словно сдаю экзамен,
мир наблюдая хрупкий.
Слово ложится в слово.
Я ложусь спать в скорлупке
(mundus est magnum ovum).
Красный кефир в бокале,
алый рассвет сосудов
в белых белках. Искали?
Кажется, это чудо.
Белый резец рассвета
перерезает шторы.
Карты легли триплетом.
В сердце вонзился штопор.
Полон безумных красок,
но всё равно печален,
невыносимо ясен
мир сквозь метель окалин.

Хрупкое тепло немого лета
оплетает фенечкой запястье.
Я всегда была твоею частью
ивовой серёжкой на нагретом
солнцем и машинами асфальте,
гроздьями сирени за калиткой
на подоле платья белой ниткой.
Нитку эту снять и погадать бы,
только не дожидаться мне ответа.
Вокруг пальца пара оборотов
в рай и ад не распахнёт ворота,
и, оставив сердце не одетым
ложными мечтами, через пальцы
ускользнёт, как речка-самозванка.
Летом здесь ни холодно, ни жарко,
небо в тучи вправлено, как в пальцы.
Городок мой вышит куполами,
вышит горько-радостной полынью.
Как, скажи, тебя из сердца вынуть?
И, хоть ты давно повенчан с Ламой,
я, к тебе вернувшись издалёка,
в каждое застекленное око
загляну и больше не покину.

Гниющее тело мира
красивей работ Ван Гога.
Свет льётся пахучим миром
на ленту сырой дороги.
Умытый дождём внезапным,
растерянный дремлет тополь.
Я облако, как облатку,
приму и войду в некрополь.
Белеют цветы, как плесень
на корочке шатольена.
Во снах меня дразнят лесом
и чёрной зарёй котелен.
Ты умер, мой край вселенной?
Ты жив? Я глаза прикрою
и терпкой, изящной ленью
позволю вползти покою
в растаявший контур тела.
Желтухой болеют липы.
– Всё так, как ты и хотела? –
спросили меня и нимбом
сознание крепко сжали.
Отвечу, сдержав улыбку:
– Молчание – мои скрижали.

И взяв не дыбу, а дыбку,
меня доломает лето
и каждый клочок телесный
как семя, уронит где-то
в утробу земли надтреснутой.

Танец чаинок в стакане.
Сорванный запах цветка.
След поцелуя на ткани
чопорного пиджака.

Что говорит, прикасаясь,
солнечный лучик к щеке?
Сердце – багровая завязь,
радужка – серый букет.

Тесно сплетённые пальцы –
чем не весенний венок?
Ты не сумел догадаться,
кто моей грусти виной.

«Тысяча лет» – это замерший вздох в полусне?
Холод, улёгшийся утром на белую изморозь простынь?
Трещина в ванной, как в просьбе ответить честней
на предложение встретиться осенью ночью промозглой

на перепутье повторных земных воплощений? Ты станешь мудрей
в следующей жизни. А в этой – по-прежнему дурень.
Сбрось оболочку: она – достояние червей,
пух тополиный, которым осыплет в июне

тысячу лет перегнивших «я очень тебя...»
Жестом руки разрываю вторичность признаний.
Наша судьба – многократно друг друга терять
и, растворяясь, в печали, как краска в стакане,

вновь находить, спустя тысячу лет тишины
(пару касаний спустя мы опять лишены
будем друг друга. Со скрипом колёса Сансары
нас перемелют в труху, но и пара касаний

стоит того). А ещё через тысячу лет
мы с тобой наконец воплотимся как липовый цвет.
Ветер будет качать нашу ветку. Из нас сварят чай.
Жди меня в новом теле.

Жди вечность –
и вечность
скучай.

Когда однажды меня не станет
не плачь по мне:
меня оплачет вода из крана
и на стене
печально солнечный заяц уши
к спине прижмёт.
И возглас боли в себе задушит
тот переплёт,
что я купила когда-то в книжном,
чтоб почитать
в минуту скуки. Но видишь, вышло
что мне скучать
нельзя, нет времени, да и негде.
Теперь моя
душа блуждает, подобно Герде
в чужих краях.
Когда однажды меня не станет,
сыграй меня
по партитуре заживших ранок
и синякам
на летаргическом теле полдня.
За звуком звук,
посмертной вдоволь испив свободы,
я оживу.